**ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН**

 **ТАНЬКА**

 Таньке стало холодно, и она проснулась.

Высвободив руку из попонки, в которую она неловко закуталась ночью, Танька вытянулась, глубоко вздохнула и опять сжалась. Но все-таки было холодно. Она подкатилась под самую "голову" печи и прижала к ней Ваську. Тот открыл глаза и взглянул так светло, как смотрят со сна только здоровые дети. Потом повернулся на бок и затих. Танька тоже стала задремывать. Но в избе стукнула дверь: мать, шурша, протаскивала из сенец охапку соломы

- Холодно, тетка? - спросил странник, лежа на конике.

- Нет, - ответила Марья, - туман. А собаки валяются, беспременно к метели.

Она искала спичек и гремела ухватами. Странник спустил ноги с коника, зевал и обувался. В окна брезжил синеватый холодный свет утра, под лавкой шипел и крякал проснувшийся хромой селезень. Теленок поднялся на слабые растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост и так глупо и отрывисто мякнул, что странник засмеялся и сказал:

- Сиротка! Корову-то прогусарили?

- Продали.

- И лошади нету?

- Продали.

Танька раскрыла глаза.

Продажа лошади особенно врезалась ей в память "Когда еще картохи копали", в сухой, ветреный день, мать на поле полудновала, плакала и говорила, что ей "кусок в горло не идет", и Танька все смотрела на ее горло, не понимая, о чем толк.

Потом в большой крепкой телеге с высоким передком приезжали "анчихристы" Оба они были похожи друг на дружку черны, засалены, подпоясаны по кострецам. За ними пришел еще один, еще чернее, с палкой в руке, что-то громко кричал я, немного погодя, вывел со двора лошадь и побежал с нею по выгону, за ним бежал отец, и Танька думала, что он погнался отнимать лошадь, догнал и опять увел ее во двор. Мать стояла на пороге избы и голосила. Глядя на нее, заревел во все горло и Васька. Потом "черный" опять вывел со двора лошадь, привязал ее к телеге и рысью поехал под гору... И отец уже не погнался...

"Анчихристы", лошадники-мещане, были, и правда, свирепы на вид, особенно последний - Талдыкин. Он пришел позднее, а до него два первые только цену сбивали. Они наперебой пытали лошадь, драли ей морду, били палками.

- Ну, - кричал один, - смотри сюда, получай с богом деньги!

- Не мои они, побереги, полцены брать не приходится, уклончиво отвечал Корней.

- Да какая же это полцена, ежели, к примеру, кобыленке боле годов, чем нам с тобой? Молись богу!

- Что зря толковать, - рассеянно возражал Корней.

Тут-то и пришел Талдыкин, здоровый, толстый мещанин с физиономией мопса: блестящие, злые черные глаза, форма носа, скулы, - все напоминало в нем эту собачью породу.

- Что за шум, а драки нету? - сказал он, входя и улыбаясь, если только можно назвать улыбкой раздувание ноздрей.

Он подошел к лошади, остановился и долго равнодушно молчал, глядя на нее. Потом повернулся, небрежно сказал товарищам: "Поскореича, ехать время, я на выгоне дожду", и пошел к воротам.

Корней нерешительно окликнул:

- Что же не глянул лошадь-то!

Талдыкин остановился.

- Долгого взгляда не стоит, - сказал он.

- Да ты поди, побалакаем...

Талдыкин подошел и сделал ленивые глаза.

- Ну?

Он внезапно ударил лошадь под брюхо, дернул ее за хвост, пощупал под лопатками, понюхал руку и отошел.

- Плоха? - стараясь шутить, спросил Корней.

Талдыкин хмыкнул:

- Долголетня?

- Лошадь не старая.

- Тэк. Значит, первая голова на плечах?

Корней смутился.

Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ лошади, взглянул как бы мельком ей в зубы и, обтирая руку о полу, насмешливо и скороговоркой спросил:

- Так не стара? Твой дед не ездил венчаться на ней?.. Ну, да нам сойдет, получай одиннадцать желтеньких.

И, не дожидаясь ответа Корнея, достал деньги и взял лошадь за оброть.

- Молись богу да полбутылочки ставь.

- Что ты, что ты? - обиделся Корней - Ты без креста, дядя!

- Что? - воскликнул Талдыкин грозно, - обабурился? Денег не желаешь? Бери, пока дурак попадается, бери, говорят тебе!

- Да какие же это деньги?

- Такие, каких у тебя нету.

- Нет, уж лучше не надо.

- Ну, через некоторое число за семь отдашь, с удовольствием отдашь, - верь совести.

Корней отошел, взял топор и с деловым видом стал тесать подушку под телегу.

Потом пробовали лошадь на выгоне... И как ни хитрил Корней, как ни сдерживался, не отвоевал-таки!

Когда же пришел октябрь и в посиневшем от холода воздухе замелькали, повалили белые хлопья, занося выгон, лазины и завалинку избы, Таньке каждый день пришлось удивляться на мать.

Бывало, с началом зимы для всех ребятишек начинались истинные мучения, проистекавшие, с одной стороны, от желания удрать из избы, пробежать по пояс в снегу через луг и, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, бить по нем палками и слушать, как он гулькает, а с другой стороны - от грозных окриков матери.

- Ты куда? Чичер, холод - а она, накося! С мальчишками на пруд! Сейчас лезь на печь, а то смотри у меня, демоненок!

Бывало, с грустью приходилось довольствоваться тем, что на печь протягивалась чашка с дымящимися рассыпчатыми картошками и ломоть пахнущего клетью, круто посоленного хлеба. Теперь же мать совсем не давала по утрам ни хлеба, ни картошек, на просьбы об этом отвечала:

- Иди, я тебя одену, ступай на пруд, деточка!

Прошлую зиму Танька и даже Васька ложились спать поздно и могли спокойно наслаждаться сиденьем на "групке" печки хоть до полуночи. В избе стоял распаренный, густой воздух; на столе горела лампочка без стекла, и копоть темным, дрожащим фитилем достигала до самого потолка. Около стола сидел отец и шил полушубки; мать чинила рубахи или вязала варежки; наклоненное лицо ее было в это время кротко и ласково тихим голосом пела она "старинные" песни, которые слыхала еще в девичестве, и Таньке часто хотелось от них плакать. В темной избе, завеянной снежными вьюгами, вспоминалась Марье ее молодость, вспоминались жаркие сенокосы и вечерние зори, когда шла она в девичьей толпе полевою дорогой с звонкими песнями, а за ржами опускалось солнце и золотою пылью сыпался сквозь колосья его догорающий отблеск. Песней говорила она дочери, что и у нее будут такие же зори, будет все, что проходит так скоро и надолго, надолго сменяется деревенским горем и заботою.

Когда же мать собирала ужинать, Танька в одной длинной рубашонке съерзывала с печи и, часто перебирая босыми ножками, бежала на коник, к столу. Тут она, как зверок, садилась на корточки и быстро ловила в густой похлебке сальце и закусывала огурцами и картошками. Толстый Васька ел медленно и таращил глаза, стараясь всунуть в рот большую ложку... После ужина она с тугим животом так же быстро перебегала на печь, дралась из-за места с Васькой и, когда в темные оконца смотрела одна морозная ночная муть, засыпала сладким сном под молитвенный шепот матери: "Угодники божий, святителю Микола милосливый, столп-охранение людей, матушка пресвятая Пятница - молите бога за нас! Хрест в головах, хрест у ногах, хрест от лукавого"...

Теперь мать рано укладывала спать, говорила, что ужинать нечего, и грозила "глаза выколоть", "слепым в сумку отдать", если она, Танька, спать не будет. Танька часто ревела и просила "хоть капуски", а спокойный, насмешливый Васька лежал, драл ноги вверх и ругал мать:

- Вот домовой-то, - говорил он серьезно, - все спи да спи! Дай бати дождать!

Батя ушел еще с Казанской, был дома только раз, говорил, что везде "беда", - полушубков не шьют, больше помирают, - и он только чинит кое-где у богатых мужиков. Правда, в тот раз ели селедки, и даже "вот такой-то кусок" соленого судака батя принес в тряпочке. "На кстинах, говорит, был третьего дня, так вам, ребята, спрятал..." Но когда батя ушел, совсем почти есть перестали...

Странник обулся, умылся, помолился богу; широкая его спина в засаленном кафтане, похожем на подрясник, сгибалась только в пояснице, крестился он широко. Потом расчесал бородку-клинушек и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закуски закурил цигарку. Умытое лицо его было широко, желто и плотно, нос вздернут, глаза глядели остро и удивленно.

- Что ж, тетка, - сказал он, - даром солому-то жжешь, варева не ставишь?

- Что варить-то? - спросила Марья отрывисто.

- Как что? Ай нечего?

- Вот домовой-то... - пробормотал Васька.

Марья заглянула на печку:

- Ай проснулся?

Васька сопел спокойно и ровно.

Танька прижукнулась.

- Спят, - сказала Марья, села и опустила голову.

Странник исподлобья долго глядел на нее и сказал:

- Горевать, тетка, нечего.

Марья молчала.

- Нечего, - повторил странник. - Бог даст день, бог даст пищу. У меня, брат, ни крова, ни дома, пробираюсь бережками и лужками, рубежами и межами да по задворкам - и ничего себе... Эх, не ночевывала ты на снежку под ракитовым кустом - вот что!

- Не ночевывал и ты, - вдруг резко ответила Марья, и глаза ее заблестели, - с ребятишками с голодными, не слыхал, как голосят они во сне с голоду! Вот, что я им суну сейчас, как встанут? Все дворы еще до рассвету обегала - Христом богом просила, одну краюшечку добыла... и то, спасибо. Козел дал... у самого, говорит, оборочки на лапти не осталось... А ведь ребят-то жалко - в отделку сморились...

Голос Марьи зазвенел.

- Я вон, - продолжала она, все более волнуясь, - гоню их каждый день на пруд... "Дай капуски, дай картошечек..." А что я дам? Ну, и гоню: "Иди, мол, поиграй, деточка, побегай по ледочку..."

Марья всхлипнула, но сейчас же дернула по глазам рукавом, поддала ногой котенка ("У, погибели на тебя нету!..") и стала усиленно сгребать на полу солому.

Танька замерла. Сердце у нее стучало. Ей хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери, прижаться к ней... Но вдруг она придумала другое. Тихонько поползла она в угол печки, торопливо, оглядываясь, обулась, закутала голову платком, съерзнула с печки и шмыгнула в дверь.

"Я сама уйду на пруд, не буду просить картох, вот она и не будет голосить, - думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг, - Аж к вечеру приду..."

По дороге из города ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и влево, легкие "козырьки", меринок шел в них ленивой рысцою. Около саней легонько бежал молодой мужик в новом полушубке и одеревеневших от снегу нагольных сапогах, господский работник. Дорога была раскатистая, и ему поминутно приходилось, завидев опасное место, соскакивать с передка, бежать некоторое время и затем успеть задержать собой на раскате сани и снова вскочить бочком на облучок.

В санях сидел седой старик, с зависшими бровями, барин Павел Антоныч. Уже часа четыре смотрел он в теплый, мутный воздух зимнего дня и на придорожные вешки в инее.

Давно ездил он по этой дороге... После Крымской кампании, проиграв в карты почти все состояние, Павел Антоныч навсегда поселился в деревне и стал самым усердным хозяином. Но и в деревне ему не посчастливилось... Умерла жена... Потом пришлось отпустить крепостных... Потом проводить в Сибирь сына-студента... И Павел Антоныч стал совсем затворником. Он втянулся в одиночество, в свое скупое хозяйство, и говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. А сегодня он был особенно угрюм.

Морозило, и за снежными полями, на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря.

- Погоняй, потрогивай, Егор, - сказал Павел Антоныч отрывисто.

Егор задергал вожжами.

Он потерял кнут и искоса оглядывался.

Чувствуя себя неловко, он сказал:

- Что-й-то бог даст нам на весну в саду: прививочки, кажись, все целы, ни одного, почитай, морозом не тронуло.

- Тронуло, да не морозом, - отрывисто сказал Павел Антоныч и шевельнул бровями.

- А как же?

- Объедены.

- Зайцы-то? Правда, провалиться им, объели кое-где.

- Не зайцы объели.

Егор робко оглянулся.

- А кто ж?

- Я объел.

Егор поглядел на барина в недоумении.

- Я объел, - повторил Павел Антоныч, - Кабы я тебе, дураку, приказал их как следует закутать и замазать, так были бы целы... Значит, я объел.

Егор растянул губы в неловкую улыбку.

- Чего оскаляешься-то? Погоняй!

Егор, роясь в передке, в соломе, пробормотал:

- Кнут-то, кажись, соскочил, а кнутовище...

- А кнутовище? - строго и быстро спросил Павел Антоныч.

- Переломился...

И Егор, весь красный, достал надвое переломленное кнутовище. Павел Антоныч взял две палочки, посмотрел и сунул их Егору.

- На тебе два, дай мне один. А кнут - он, брат, ременный - вернись, найди.

- Да он, может... около городу.

- Тем лучше. В городе купишь... Ступай. Придешь пешком. Один доеду.

Егор хорошо знал Павла Антоныча. Он слез с передка и пошел назад по дороге.

А Танька благодаря этому ночевала в господском доме. Да, в кабинете Павла Антоныча был придвинут к лежанке стол, и на нем тихо звенел самовар. На лежанке сидела Танька, около нее Павел Антоныч. Оба пили чай с молоком.

Танька запотела, глазки у нее блестели ясными звездочками, шелковистые беленькие ее волосики были причесаны на косой ряд, и она походила на мальчика. Сидя прямо, она пила чай отрывистыми глотками и сильно дула в блюдечко. Павел Антоныч ел крендели, и Танька тайком наблюдала, как у него двигаются низкие серые брови, шевелятся пожелтевшие от табаку усы и смешно, до самого виска ходят челюсти.

Будь с Павлом Антонычем работник, этого бы не случилось. Но Павел Антоныч ехал по деревне один. На горе катались мальчишки. Танька стояла в сторонке и, засунув в рот посиневшую руку, грела ее. Павел Антоныч остановился.

- Ты чья? - спросил он.

- Корнеева, - ответила Танька, повернулась и бросилась бежать.

- Постой, постой, - закричал Павел Антоныч, - я отца видел, гостинчика привез от него.

Танька остановилась.

Ласковой улыбкой и обещанием "прокатить" Павел Антоныч заманил ее в сани и повез. Дорогой Танька совсем было ушла. Она сидела у Павла Антоныча на коленях. Левой рукой он захватил ее вместе с шубой. Танька сидела не двигаясь. Но у ворот усадьбы вдруг ерзнула из шубы, даже заголилась вся, и ноги ее повисли за санями. Павел Антоныч успел подхватить ее под мышки и опять начал уговаривать. Все теплей становилось в его старческом сердце, когда он кутал в мех оборванного, голодного и иззябшего ребенка. Бог знает что он думал, но брови его шевелились все живее.

В доме он водил Таньку по всем комнатам, заставлял для нее играть часы... Слушая их, Танька хохотала, а потом настораживалась и глядела удивленно: откуда эти тихие перезвоны и рулады идут? Потом Павел Антоныч накормил ее черносливом - Танька сперва не брала, - "он чернищий, нукось умрешь", - дал ей несколько кусков сахару. Танька спрятала и думала:

"Ваське не дам, а как мать заголосит, ей дам".

Павел Антоныч причесал ее, подпоясал голубеньким пояском. Танька тихо улыбалась, втащила поясок под самые мышки и находила это очень красивым. На расспросы она отвечала иногда очень поспешно, иногда молчала и мотала головой.

В кабинете было тепло. В дальних темных комнатах четко стучал маятник... Танька прислушивалась, но уже не могла одолеть себя. В голове у нее роились сотни смутных мыслей, но они уже облекались сонным туманом.

Вдруг на стене слабо дрогнула струна на гитаре и пошел тихий звук. Танька засмеялась.

- Опять? - сказала она, поднимая брови, соединяя часы и гитару в одно.

Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоныча, и давно уже не озарялось оно такою добротою, такою старчески-детскою радостью.

- Погоди, - шепнул он, снимая со стены гитару. Сперва он сыграл "Качугу", потом "Марш на бегство Наполеона" и перешел на "Зореньку":

Заря ль моя, зоренька.

Заря ль моя ясная!

Он глядел на задремывающую Таньку, и ему стало казаться, что это она, уже молодой деревенской красавицей, поет вместе с ним песни:

По заре-заре

Играть хочется!

Деревенской красавицей! А что ждет ее? Что выйдет из ребенка, повстречавшегося лицом к лицу с голодною смертью?

Павел Антоныч нахмурил брови, крепко захватив струны...

Вот теперь его племянницы во Флоренции... Танька и Флоренция!..

Он встал, тихонько поцеловал Таньку в голову, пахнущую курной избой.

И пошел по комнате, шевеля бровями.

Он вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек, - и везде они томятся от голода!

Павел Антоныч все быстрее ходил по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына...

А Таньке снился сад, по которому она вечером ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах, опушенных, как белым мехом, инеем. Сквозь них роились, трепетали и потухали огоньки, голубые, зеленые - звезды... Кругом стояли как будто белые хоромы, иней сыпался на лицо и щекотал щеки, как холодный пушок... Снился ей Васька, часовые рулады, слышалось, как мать не то плачет, не то поет в темной дымной избе старинные песни...

1892